



Н. Новикова

ВЛАДИМИР ОБРУЧЕВ

Не хочу стрелять в своих!

Обручев просидел у Чернышевского весь вечер. Разговор шел о «высоких предметах», то есть о крестьянском вопросе, который так волновал их обоих в начале 1859 года.

На другое утро Чернышевский снова погрузился в свою работу.

Неожиданно в кабинет вошла служанка и сказала:

— Пожалуйте в залу, там вас спрашивают Обручев.

«Что такое? — подумал Чернышевский. — Вот уже полгода мы очень дружны с капитаном Обручевым, но не до такой нежной неразлучности. Вчера не предполагали видеться раньше как недели через две. Значит, экстренное дело. А главное, что ж он остался в зале и прислал сказать о себе, а не вошел сам в кабинет? Странно!»

Чернышевский вышел в залу. Опершись рукой на стол, у дивана стоял незнакомый молодой человек в костюме безукоризненно строгой простоты. И сам он показался Чернышевскому человеком очень светского воспитания: так непринужденна была его поза, так легко он поклонился и сделал шаг к хозяину в ответ на его поклон.

Неожиданный посетитель был стройный человек среднего роста, сухощавый, довольно широкий в плечах, со светлыми, почти белыми, но очень курчавыми волосами, с очень белым, даже бледноватым, но здорового цвета лицом, черты которого были угловаты.

— Извините, — сказал Чернышевский, — служанка назвала мне фамилию моего приятеля господина Обручева — видимо, перепутала... Покорно прошу... — добавил Николай Гаврилович, внутренне смущаясь, что вышел в домашнем виде к незнакомому человеку.

— Служанка не ошиблась: моя фамилия действительно Обручев, — сказал посетитель, садясь и подавая письмо.

Чернышевский взглянул на адрес, разрывая конверт: рука Панаева. Развернул записку — так и есть: «Не найдется ли у нас в журнале работа для г. Обручева, который выходит в отставку, чтобы заняться литературою».

— Я посмотрю, поищу; может быть, найду что-нибудь для вас, но не рассчитывайте на это, скорее нет, — вынужден был сказать действительный редактор «Современника».

Обручев хотел встать и откланяться. Но Чернышевский остановил его вопросом:

— Вы не родственник Николаю Николаевичу Обручеву, которого я ожидал увидеть вместо вас?

Договаривая эти слова, он уже успел упрекнуть себя за этот вопрос: если б он был родственник, то, естественно, Николай Николаевич и рекомендовал бы его, а не явился бы он сам по себе. Но против ожидания посетитель ответил:

— Да, я ему родственник.

— И в хороших отношениях с ним?

— Да!

— Но ведь он знаком и с Панаевым, и с Некрасовым, и со всеми в «Современнике».

— Я знаю.

— Что за диво! Почему же вы не сказали ему, чтоб он познакомил вас?

— Потому что не хотел пользоваться рекомендацией.

— Его? Почему же?

— Не его в частности, а вообще, потому что не находил это удобным.

Чернышевский невольно почувствовал к нему некоторое уважение. Нежелание пользоваться рекомендацией хотя и было необычным, но честным. Новый Обручев заслуживает, чтобы посоветовать ему не делать глупости.

— Вы хотите выйти в отставку, чтобы заняться литературой. Занятие хорошее, если у вас есть беллетристический талант. Быть беллетристом можно и оставаясь на службе. А кроме повестей, ничто не требуется и ничто не выгодно. Собственно журнальная работа — черная работа, которая обременительнее службы; славы она вовсе не дает, денег дает мало. Да и здесь, как на службе, приходится ждать вакансий. Итак, ищите, испытывайте себя и ждите, оставаясь на службе.

— Я не могу этого сделать. Не дальше как через неделю я должен подать в отставку.

— Это жаль. Что ж, у вас вышли столкновения по службе?

— Нет. Но я должен выйти в отставку потому, что служба портит.

Чернышевский не выдержал и рассмеялся. «Служба портит! Это любопытно».

— Где же вы нашли такую службу? В откупах?

— Нет, — отвечал Обручев спокойно, улыбаясь, — в военном министерстве.

Только теперь Чернышевский понял, откуда в этом штатском такая выправка.

— Интересно. Я знаком со многими служащими в этом министерстве. Признаюсь вам, не замечал ни

на ком порчи от службы в нем. Одно из самых чистых министерств, помилуйте.

— Я не говорил, что портит служба именно в этом или каком-нибудь другом министерстве, я говорил, что портит служба вообще. Я хочу остаться человеком свободным.

— Хорошо. Я рекомендую вам оставаться на службе вовсе не так долго — несколько месяцев, в течение которых вы еще не испортитесь, а избежите риска. Служите, пока найдете работу и испытаете себя на ней.

— Это было бы лучше, правда. Но есть особенная причина — я хочу уйти с военной службы из опасения, что придется сделаться убийцей, стрелять в своих, и притом в тех, кто будет стоять за добро против зла!

Обручев сам удивился, что так просто и легко сказал редактору самую сокровенную причину отставки.

Чернышевский, казалось, не слышал этих слов молодого Обручева, продолжал задавать вопросы и отговаривать бросать военную службу. Но если бы Обручев знал, как был поражен Чернышевский и тронут его горячей искренностью, ему бы стало легче. Чернышевскому было ясно, что служба противна убеждениям Обручева, кроме того, что может испортить его хорошим жалованьем и карьерою.

— Позвольте спросить, где вы кончили курс?

— В Николаевской академии Генерального штаба.

— В каком вы чине?

— Поручик гвардии.

— Ищите место на кафедре военной академии. Кафедра и вернее, и спокойнее, и почетнее журнальной работы. У вас остались связи с академией?

— С немногими из профессоров. — Он назвал двух-трех.

— Они руководят большинством совета. Я знаю, там есть вакантные места.

— Мне говорили. Но я не хочу деятельности, противной моим убеждениям.

— Даже и кафедра? Помилуйте!

Они разговорились. Чернышевский стал подробно

разбирать каждый пункт предшествовавшего краткого объяснения, по каждой статье доказывал рассудительность своего мнения.

Владимир Александрович Обручев — так звали нового знакомого Чернышевского — слушал терпеливо, спокойно; возражал холодно и коротко; большей частью не оспаривал слов Чернышевского, а только говорил: «ваш взгляд таков: я не могу разделять его», «мой взгляд кажется вам неправилен; я остаюсь при мнении, что он верен».

Чернышевский был верен своей привычке шутить. Обручев принимал шутки с полнейшим равнодушием, с видом снисходительного одобрения, с мягкой, несколько меланхолической улыбкой, которая появилась у него, как только разговор оживился, и уж не сходила с лица его все время. В его глазах, маленьких, серых, светилось кроткое, задумчивое добродушие. С этим взглядом, с этой улыбкой лицо его стало привлекательно — живо, выразительно.

Так они протолковали часа два. Когда они расставались, Чернышевский просил его зайти к нему через неделю, заметив, что, может быть, он найдет ему какую-нибудь работу, но что важнее потолковать еще раз.

— Нельзя ли вас сбить с ваших мыслей?

— Это напрасно, — скромно отвечал Обручев.

Да и Чернышевский видел, что напрасно.

— Конечно; но все-таки священный долг опытного человека — не оставлять без назидания восторженного юношу, — сказал Чернышевский с улыбкой.

— Конечно; и юноша обязан не скрываться от назиданий. Зайду.

Беседа окончена. Оба крепко пожали друг другу руки. Дверь захлопнулась.

Редактор не мог работать. Он долго ходил по кабинету, напряженно обдумывая всю встречу. Снова нахлынули сомнения. Уж очень необычный человек!

Наконец он остановился у окна. Никто не видел, как улыбнулся редактор. Улыбнулся и подумал: «Наш!!!»



Александр Серно-Соловьевич



В. А. Обручев

* * *

— У вас есть родственник Владимир Александрович. Что он за человек и почему я ни разу не встречал его у вас? — спросил Чернышевский Николая Николаевича Обручева, когда увиделся с ним после появления Владимира Обручева у себя в доме.

— Владимир? Хороший юноша. Еще не установился. Когда установится и образумится, то будет умный и порядочный человек. Теперь он еще слишком экзальтирован, а я все холожу его. Ему это, конечно, не по вкусу. Потому он редко бывает у меня по вечерам, а когда ко мне приходят знакомые, он и вовсе не благоволит посещать нас. Потому вы его и не встречали у меня.

— То есть вы продолжаете обращаться с ним так, как обращались с ним, когда ему было пятнадцать лет, а вам двадцать. Естественно, что он не хочет стоять в таких отношениях при ваших знакомых.

— Что, вы уж с выговором мне? А вы долго с ним говорили?

— Довольно долго.

— Ну как же вы сами-то с ним говорили? Полагаю, так же, как я?

— И то правда. Он хочет выходить в отставку — безрассудство, но, кажется, его не переубедишь; и хочет заняться журнальной работой. Способен он к этому?

— Да, если захочет.

— Как же, если захочет? Хочет.

Из дальнейшего разговора с Николаем Николаевичем Чернышевский узнал, что Владимир Обручев происходил из старинной служилой дворянской семьи. Его отец находился под влиянием идей декабристов, но все же принял участие в подавлении польского восстания 1830—1831 годов; после этого женился на польке, дочери участника польского восстания и эмигранта Франца Тимовского, служил главным образом в западных губерниях. После Крымской войны в чине генерал-лейтенанта он получил отставку и очень скромно жил возле Ржева Тверской губернии в деревеньке Клепенино, купленной на сбережения. Для вос-

питания детей он не жалел никаких средств и сил. Сыновья Владимир и Афанасий закончили 1-й кадетский корпус, затем Владимир из лейб-гвардии Измайловского полка был направлен в академию Генерального штаба. Он закончил ее с серебряной медалью в чине поручика с перспективою служить в гвардии и сделать не меньшую карьеру, чем все ретивое военное поколение Обручевых (среди них были даже генерал-губернаторы!).

Николай Николаевич хорошо знал Владимира, своего двоюродного брата, так как он часто бывал в их семье.

Неожиданное и твердое желание Владимира Обручева — молодого двадцатитрехлетнего поручика «со связями» и перспективами — выйти в отставку казалось безумством, которое грозило ему разрывом с отцом и некоторыми важными родственниками.

Повод, который он выдвигал, — обида по поводу получения не того назначения, на которое рассчитывал, — никого не убеждал.

Николай Гаврилович понял из всех этих рассказов, что, в сущности, молодой Обручев пускался в путь совершенным младенцем. Будь он опытнее, он, конечно, не сказал бы обо всем при первой встрече. Чернышевский вновь вспомнил, как решительно заявил Обручев о нежелании служить в армии.

— Я не хочу стрелять в своих! — как клятва звучали эти слова.

В этом юноше чувствовалась горячая искренность.

Чернышевского поразило также его спокойное упорство в стремлении уйти в отставку — это было явное безрассудство. Но оно проистекало из благородных мотивов, и Николай Гаврилович не мог осуждать его, а мог только сочувствовать ему.

В «Современнике»

Владимир шел домой окрыленный. Он чувствовал себя уже сотрудником «Современника», хотя никто еще не дал ему согласия. Порукой были добродушная

улыбка Чернышевского и его теплое рукопожатие. Правда, впереди трудности. О них серьезно говорил Чернышевский. Но жребий брошен. Обручев смело шагнул в новую жизнь.

За последние годы в направлении его мыслей произошли большие перемены под влиянием чтения «Современника», «Военного сборника», «Колокола», который изредка доставали офицеры академии. Повлиял на него и социалист Консидеран, два томика которого он прочел с восторгом, близким к его восторженному восприятию поэзии Некрасова.

Володе был по сердцу беспощадный некрасовский приговор ненавистному «барству» и «тиранству» и некрасовское ликование по поводу того, что

...Набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий...

Его, сына дворянина-генерала, глубоко трогали строки о «бесплодной жизни отцов»:

Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я...

И он глубоко презирал себя за то, что на правах помещика дважды в год выжимал через денщика с оброчного пьянчужки-портного по десяти рублей, которые, несомненно, доставались портному не дешево.

Владимир Обручев уже отказался от казенного денщика «по ненадобности» и перешел на жительство в «вольной квартире», но от этого не изменилась судьба 125 заложенных и перезаложенных душ в Клепенине, где барщина и в 1859 году неукоснительно отбывалась.

Еще совсем недавно, на рождество 1858 года, Обручев был дома — в Клепенине, имел горячие и резкие объяснения с отцом по поводу своей отставки и грубости отца с крепостными.

Последствием этого были тяжелые домашние

сцены, убивавшие его тихую, кроткую мать, разрыв с отцом и отказ от денежной помощи из дому.

Почему он пошел в «Современник»? Потому, что надеялся найти там не только работу, но и ответы на мучившие его вопросы: почему так плохо народу в России, как найти путь к социальной справедливости, как лучше провести реформы, необходимые народу?

«Современник» поможет ему ответить на эти вопросы — так он понял Николая Обручева, любившего этот журнал и связанного с его редакцией.

Внимание и доброта Чернышевского как-то особому взволновали Обручева, стало стыдно, что он так мало его читал. И Владимир жадно набросился на статьи своего нового наставника.

Как он не прочел раньше «Критики философских предубеждений»? Там было много ответов на мучившие его вопросы, в решении которых ему не помог ни его любимец Руссо, ни новый для него автор Консидеран, ни даже Герцен.

После беседы с Чернышевским и более внимательного чтения его статей Обручев почувствовал, что еще больше любит людей труда и «интеллигентный пролетариат», в ряды которого он решил вступить.

Страстно хотелось все понять, знать и осуществить «беспощадный суд» над своей слабостью и нерешительностью.

Работа в инспекторском департаменте по расквартированию войск и доклады о поразительных пороках эмира Бухарского совсем перестали занимать Обручева.

Он с нетерпением ждал новой встречи с Чернышевским. Как и договорились, он зашел через неделю. Николай Гаврилович встретил его приветливо, как старого знакомого, и предложил сделать перевод первого тома «Всемирной истории» Шлоссера. Обручев, в совершенстве владевший немецким языком, охотно согласился. Николай Гаврилович посоветовал изучить и английский язык. Владимир последовал этому совету и взялся за изучение языка.

Только позднее Обручев понял, почему так нужно знать английский язык журналисту России «накануне». По ту сторону океана, где люди говорили по-английски, начались важные события — восстания рабов. Опыт этих восстаний изучался.

Вскоре пришлось Владимиру Обручеву узнать, что такое русская цензура. Чернышевский рассказал ему о всех перипетиях борьбы с цензорами. Открылась еще одна область, мало известная Владимиру. Оказывается, искусство маневрирования в сетях цензуры состояло не только в умелом изложении мыслей, но также в использовании всех неувязок и неразберихи, царивших в цензурном ведомстве.

Дело в том, что никто не отменял старого николаевского цензурного устава. Он был устранен самой жизнью. В стране оказалось очень много недовольных цензурой. Кругом говорили о необходимости новых правил и даже был создан особый комитет по делам печати, но его возглавили ярые реакционеры Адлерберг, Муханов и Тимашев.

Дело с подготовкой правил затянулось. Внутри комитета обнаружили разногласия. Этим-то и пользовались многие издатели. Разрешения на издание того или иного произведения не требовалось, но издателям постоянно грозил штраф, приостановка выпуска или даже закрытие журнала или газеты. Для этого достаточно было, чтобы цензору показалось в статье что-либо «предосудительным».

Издателям «Современника» не раз приходилось откупаться штрафами. Приходилось считаться с опасностью закрытия журнала, а это означало потерю единственной трибуны.

— Подумайте об этом, — говорил Обручев Николай Гаврилович. Он имел в виду его статью о событиях в Сербии. — Это первый ваш опыт, — улыбался Чернышевский, — и я вижу, что вы сделали все возможное, чтобы читатель вместо слова «Сербия» мог прочесть — «Россия».

Речь шла о статье «Возвращение князя Милоша Обреновича в Сербию», опубликованной анонимно «Современником» в марте 1859 года. Сам Обручев

ни за что не решился бы назвать ее своей. Николай Гаврилович так основательно поработал над гранками, что от первоначального текста мало что осталось.

— Надеюсь, не обидитесь? — спросил Чернышевский, показывая Владимиру корректуру, всю перечерканную, переправленную и местами дописанную. Конечно, Владимир не обиделся. Напротив, в этом увидел он наглядный урок. Только под пером Чернышевского статья засверкала публицистическим блеском. Острые статьи было направлено внутрь России, на ее правительственные сферы.

Сама тема увлекла Обручева. Мысль о том, что демократические завоевания, политические свободы и экономическая независимость Сербии добыты с оружием в руках, не давала ему покоя. Было стыдно за Россию, которая не имела «скупщины», даже подобия парламента, в котором бы власть принадлежала лучшим представителям народа. Он старался пробудить этот стыд и в читателях, говоря, что русский читатель непривычен к таким формам жизни и особенно к низложению правителей народным собранием, в то время как в Сербии «это вещь очень натуральная». Редактируя статью, Чернышевский особенно высмеивал русских либералов, благоговевших перед царской властью, а также подчеркнул благотворность для «австрийских сербов» повторения «сильного потрясения Австрии событиями вроде происшествий 1848 года». Владимир долго удивлялся тому, что цензура не заметила этой деликатной похвалы революции.

Не заметила цензура и того, что статья доказывала преимущества конституционного устройства, при котором представители народа, правильно избранные, решают судьбы страны, что примером Сербии «Современник» хотел увлечь крепостную Россию.

* * *

Летом 1859 года Чернышевский тайно даже от многих сотрудников «Современника» уехал в Лондон для переговоров с издателями «Колокола». На-

до было объединить усилия и не допускать разногласий.

Владимир Обручев, конечно, не знал, куда уехал Чернышевский. Ему сказали, что в отсутствие Николая Гавриловича он должен сдавать свою работу Добролюбову. Их первая встреча произошла в редакции. Она была не только деловой, но и теплой. Обручев чувствовал в этом заботу Чернышевского, который просил Добролюбова позаботиться об Обручеве. Навсегда запомнился кроткий взгляд этого высокого молодого человека, удивительно доброго, также отговаривавшего его уходить в отставку. Правда, его аргумент, сказанный как бы вскользь: «Хорошие люди везде нужны», — заставил задуматься, но было уже поздно. Подходило к концу оформление отставки. Очень кстати были и деньги, полученные за переводы по записке Добролюбова 2 августа 1859 года.

Поручик гвардии должен был привыкать к новой жизни русского журналиста-демократа со всеми ее случайностями и трудностями.

В конце августа 1859 года вышла отставка Обручева. Тогда же он снял небольшую комнатку, выглядывшую довольно убого.

На этой квартире его посетил однажды Добролюбов. Он привез ему работу и деньги и, между прочим, нашел, что Обручеву следовало бы переехать. Однако Владимиру пришлось здесь перезимовать.

С Николаем Гавриловичем Обручев сходил все ближе. Бывал у него дома. Там познакомился он с Ольгой Сократовной, женой писателя, со многими интересными людьми. Одним из них был старый знакомый семьи Чернышевских, позднее домашний врач семьи — Петр Иванович Боков. Он был немного старше Володи и был добрейшим человеком. Скоро они стали приятелями.

Потянулись месяцы упорной работы. Отшумело рождество, новогодний праздник. Вслед за январскими морозами 1860 года февральские метели повсюду намели сугробы. Всю эту зиму Владимир помогал Николаю Гавриловичу в его работе над

статьей «Леность грубого простонародья». Для нее нужно было перевести статью из «Эдинбургского обозрения». Уже с осени Обручев неплохо переводил с английского, и Чернышевский поручил ему этот перевод.

Обручев хорошо справился с переводом и заслужил похвалу Чернышевского и Добролюбова. Необходимо было заострить смысл принципиальных положений автора, придать им новое звучание, применительно к русской действительности. Статья была снабжена предисловием и заключением, написанными самим Чернышевским. В статье решительно опровергалось мнение о так называемой «лености» трудового люда. Вопрос этот был в те времена важным. Находились «теоретики», доказывавшие пользу подневольного труда. Таким «теоретиком» оказался, например, экономист Горлов. Против него и направил удар Чернышевский. Он подчеркивал «благотворное последствие освобождения» и упрекал реакционеров за «тупые опасения» и «свокорыстные колебания». Крепостники получили еще один удар.

Владимир, правда, знал, что этот удар значительно ослаблен цензурными купюрами. Но был все же горд, счастлив, что по мере своих сил помогал Чернышевскому проводить в печати очень важные мысли о необходимости немедленного и полного освобождения крестьян, творцов богатства России.

Хотя заключение статьи было совершенно изуродовано цензурой, Обручеву стало ясно из рукописи, что Чернышевский верил в неизбежность крестьянского восстания в России «при энергическом характере русского простонародья», если подготовлявшаяся реформа обманет народные надежды.

Обручев смотрел теперь на Чернышевского как на руководителя современного ему общественного движения, к которому сам он примкнул искренне и самоотверженно.

Он теперь не мыслил себе дальнейшей жизни без «Современника», без Чернышевского, Добролюбова и Некрасова.

Всех подбадривал руководитель журнала. Он,

беспримерный труженик, всегда находил время для друзей. Чернышевский интересовался всем, что касалось жизни Обручева.

Николай Гаврилович знал, что заработка в «Современнике» ему не хватало, и посоветовал найти уроки. Владимир так и сделал. Вскоре он начал давать уроки французского языка сыну министра двора графа Адлерберга.

Чернышевский первый узнал от Владимира, что его любимая сестра Маша тяжело заболела в деревне. С тревожным письмом матери Владимир прежде всего пошел к Николаю Гавриловичу, который, как лучший врач, сразу определил причину «серьезной болезни» Маши: тоска по людям, стремление к свету, к знаниям, желание вырваться на свободу из старозаветной семьи.

Николай Гаврилович, правда, посоветовал ехать в деревню со «своим доктором», то есть с Боковым.

Пришлось отложить новое серьезное дело, порученное Чернышевским: статью «Китай и Европа». Пришлось также оставить и место гувернера в семье капитана Зарембы и даже занять у него огромную сумму — 500 рублей, чтобы перевезти Машу в Петербург.

Поездка в Клепенино была очень трудной. Генерал не мог простить сыну отставки. Все надежды были на доктора. Владимир, конечно, не представил его как своего приятеля и человека современного образа мыслей. Он был доктором с бойко идущей в гору практикой — и прекрасно сыграл свою роль. Чуткая душа Эмилии Францевны не могла не оценить нежной души и доброты Петра Ивановича, а как женщина она была им очарована, поверила, что поездка в Петербург, перемена обстановки оздоровят Машу, которая не ест, не спит и тает на глазах.

Даже старый грозный генерал Обручев сдался, наконец, и отпустил дочь в Питер, но... под наблюдением матери.

Весь конец зимы и весну 1860 года Владимир занимался устройством Маши в Петербурге. Он нашел

квартиру на Васильевском острове, по соседству с Чернышевскими.

Вскоре Николай Гаврилович приехал к Маше и Эмилии Францевне вечером и своим простым, участливым разговором чрезвычайно понравился обоим. Мать Обручева сразу оценила Чернышевского. Она была далека от понимания его роли в жизни тогдашней России «накануне». Но как человек он поразил ее, победил ее прежнюю недоверчивость. Маше Чернышевский привез самое главное лекарство — книги; он ободрял ее, звал к себе:

— Кроме жены и детей, у меня есть и взрослые племянницы, — объяснил Чернышевский.

Вскоре Машу навестила и Ольга Сократовна, повторившая приглашение мужа. Отношения вскоре стали дружескими. Племянницы Чернышевского Евгения и Полина часто приходили к Обручевым.

Каждую неделю теперь они виделись и на «субботах» у Чернышевских. Душою этих «суббот» была милая и веселая Ольга Сократовна, которая стремилась прекратить всякие споры в гостинной и отвлечь гостей шутками, музыкой, танцами, чаем.

Но она не могла, да и не хотела, отвлекать Обручева от Полины. Ей нравилась эта милая пара, оживленно беседовавшая о чем-то своем, каждый день делающая открытия. Она радовалась, глядя на них. О чем только не говорили они друг другу!

Был май 1860 года. Добролюбов собирался ехать за границу лечиться, Николай Обручев и Сераковский получили официальные заграничные командировки, которые хотели использовать для того, чтобы побывать у Герцена и Огарева в Лондоне и у Гарибальди в Италии.

В России создавалась своя «партия действия», — и надо было решительнее привлечь к этому делу редакцию «Колокола» и конкретнее изучить опыт Италии, где развертывались революционные события.

Однажды, оставшись наедине с Владимиром, Николай Обручев сказал ему:

— Мы делаем очень важное для России и очень

опасное дело. Можем ли мы рассчитывать на твою помощь, когда она понадобится?

— Как мог ты сомневаться во мне?!

— Я не сомневался, но такое у нас правило — каждый должен идти на дело, зная о его опасности.

— Я готов.

— Уверен в тебе, как в себе, брат, потому и рекомендовал тебя.

— Спасибо за доверие.

— Поздравляю тебя и нас. Нашего полку прибыло. Помни, что ничего нельзя верить бумаге. Все дела будут вестись изустно. У нас нет ни списков, ни протоколов, чтобы не было материальных улик. Одна неосторожность — и погибнешь не только сам, погубишь людей, нужных России. Помни это, Владимир.

— Буду помнить, Николай.

Затем разговор перешел в самую конкретную сферу: шифр корреспонденции, которая будет идти из-за границы на имя Владимира; пароль для связи; советы присматриваться к людям, восстановить старые связи с офицерами Измайловского полка и в академии, с кем установить связь; изучать студенчество, имена.

Они расстались поздно ночью. Владимир понял, что посвящен в великую тайну. Он был горд и счастлив.

Со времени отъезда Добролюбова, Николая Обручева и Сераковского в Европу, то есть с мая 1860 года, общение с Чернышевским стало еще более тесным. Вместе ждали писем и радовались тому, что Николай Обручев смог быть полезным Добролюбову в Париже, где они вместе жили в Латинском квартале. Знал Владимир и то, что успешно решалась «лондонская проблема».

Надо было терпеливо ждать новых вестей. А вести приходили медленно.

«Письмо из провинции» за подписью «Русский человек», которого с нетерпением ждал Владимир, снова глубоко взволновало его, когда он прочел его не в рукописи, а на страницах «Колокола». Казалось, он видит Добролюбова и слышит его слова: «...Сотни

лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей... К топору зовите Русь!»

Лето и осень 1860 года Владимир работал над порученной ему статьей «Китай и Европа». Чернышевский придавал ей большое значение. Обручев засел за книги о Китае. Вот когда опять понадобился английский язык.

В статью о Китае Обручев вложил все, на что был способен.

История Китая, трудолюбие и талантливость китайского народа, движение тайпинов восхитили его. Он проводил в статье бесспорную для него мысль: европейское вторжение только затормозило развитие Китая, стоявшего прежде на довольно высокой ступени материальной и духовной жизни.

Обручев настойчиво подчеркивал «высокую степень цивилизации» Китая и трудолюбие его народа, чтобы лишний раз подорвать господствовавшее представление о превосходстве европейцев над китайцами. Он писал: «Китай — страна, достигшая высокой степени материального и нравственного развития, имеющая право требовать, чтобы никто не оскорблял ее покоя, не задевал ее, как она никого не задевает». Обручев с возмущением осуждал «все мрачные стороны английского вмешательства в китайские дела», а также вторжение Англии на территории других стран, «уступающих ей в силе», осуждал зверства англичан и торговлю опиумом, которая «позорит английскую нацию».

Вместе с тем Владимир обрушивался на безграничный произвол китайских мандаринов. Сравнивая «народные страдания» в Китае с положением русских бурлаков, Обручев прямо наталкивал читателя на мысли о «бедствиях крайней нищеты» русского народа, борющегося за свободу.

Вывод этой статьи фактически звал и Россию к изменению ее феодального строя на европейский, как более передовой: «Мы далеки от безусловного поклонения западным общественным началам; но мы были бы пристрастны, если бы не признали их превосходства перед китайскими. Положение женщи-

ны в Европе лучше; и, главное, Европа проникнута жаждой прогресса, желанием идти вперед. Эти два обстоятельства могут служить лучшей меркой развития народа».

Обручев знал, что кое-что в статье сказано в угоду цензуре, но проницательный человек отбросит эти «кое-что», так как они противоречат всему содержанию статьи. Цензура этого не поймет, но лучшая часть читателей «Современника» поймет: европейские порядки все же лучше китайских и русских — феодальных — и за них нужно бороться.

Эта статья была помещена в январском номере «Современника». Впервые Обручев увидел свое имя рядом с Чернышевским («Кредитные дела»), Некрасовым («Плач детей»), Михайловым («Юмор и поэзия в Англии»).

В этом ряду, как автор и как боец, он вступил в незабываемый 1861 год.

Вскоре Чернышевский поручил Обручеву написать ответную статью «Современника» на ожидавшую со дня на день реформу. О России, конечно, писать было нельзя. Но Обручев должен был провести аналогию с Россией на примере невольников Америки. Поводом для статьи явилась вышедшая в 1860 году в Нью-Йорке книга Эббота «Юг и Север». Получили ее только к концу года, и Чернышевский упомянул уже о ней мельком. Теперь наступила пора использовать эту книгу полнее. Статью было решено назвать «Невольничество в Северной Америке».

Обручев работал не покладая рук. Из-под пера выбегали торопливые, неровные строчки:

«...беспредельная бедность, тяжелое физическое страдание, крайнее оскорбление всех человеческих чувств, отсутствие каких бы то ни было привязанностей, отсутствие всякой радости, отсутствие всякой надежды на улучшение участи и, наконец, при всем этом кнут плантатора всегда, везде и за все — вот в каких обстоятельствах трудится невольник...»

— Пишу о черных рабах, а перед глазами белые, — говорил Владимир Чернышевскому.

— Только так и быть должно! — улыбался Николай Гаврилович. — Ведь это только наши рабовладельцы белое делают черным.

Владимир волнуется. Что скажет он тысячам читателей самого популярного журнала России?

— Восстание...

Но разве можно говорить о нем прямо? И он пишет: «В обстоятельствах, в которых теперь находится Россия, конечно, едва ли какой-нибудь разряд сочинений может быть для нее интереснее, чем книги, определяющие относительное достоинство принужденного и свободного труда». Обручев не жалеет красок, описывая тяжелое положение невольников в Северной Америке, думая о русских крепостных крестьянах, «освобождаемых сверху». Угнетение невольников он прямо назвал «гнуснейшим из всех человеческих преступлений», а труд угнетенных — «жалким и ничтожным по своим результатам».

С глубоким внутренним волнением Обручев подчеркивает в статье: «Когда имеешь дело с известными людьми, недостаточно быть свободным, а нужно быть сильным, обеспеченным, нужно иметь залого сохранения свободы. Иначе свобода окажется хуже рабства». Аналогия между ужасным положением формально свободных кули и освобождаемых по реформе 61-го года крестьян не могла не звать на борьбу за ликвидацию труда людей, «обреченных на воловий труд вплоть до самой могилы».

Обручев шел дальше, он обрушивался на всю систему, выносил ей приговор: «И всякая система, которая обрекает его (т. е. человека. — *Ред.*) на невежество, которое не позволяет ему достигнуть человеческого развития, должна быть названа зверской, бесконечно постыдной».

Отсюда уже логично и убедительно вытекал важнейший для России вывод статьи о неизбежности народного восстания там, где народ обманут в своих ожиданиях: «Неожиданное для всех пламя пожара может вдруг вспыхнуть во всех концах края... рядом с ним начнутся убийства и грабежи, которых свирепость, конечно, будет ужасна, но будет необходимое

последствие крайней неразвитости и, главное, крайних страданий народа».

Тут же Обручев подчеркивал справедливость будущего восстания «невольников», ибо они будут драться из-за великой идеи, из-за «священных и существенных прав...» Обручев не надеялся, что цензор это пропустит, но он пропустил.

После того как реформа была объявлена, в мартовском номере «Современника» была опубликована статья Обручева «Невольничество в Северной Америке». Она оказалась как никогда кстати. Ее напечатали следом за «Песнями негров» Лонгфелло в переводе Михайлова.

Мартовский номер «Современника» упорно и демонстративно замалчивал царский Манифест и Положения 19 февраля. «Проницательный читатель» сразу догадался в чем дело. Это был протест против обмана, против игры в «освобождение».

— Говорят, молчание порой красноречивее любого оратора, — размышлял вслух Владимир, шагая через весенние лужи рядом с Полиной Пыпиной.

Подруга молча вскинула глаза. Они говорили яснее тысячи слов.

Владимир Обручев гордился доверием Чернышевского, редакции. Он стал уже постоянным сотрудником журнала. Обручев чувствовал себя в эти дни уже не «либеральным господином» или «черт знает чем», как говорил Чернышевский, а человеком, знающим, что делать.

В глубине подполья

Лучшие годы жизни были для Обручева не только годами работы в «Современнике» под руководством Чернышевского и Добролюбова. Была в них и другая, видимая лишь немногим сторона жизни.

Искренне, с большим воодушевлением примкнул Обручев к тому тайному движению, душой которого был Чернышевский. Разумеется, об этом никто не говорил. Но Обручев твердо знал, что это так.

Знал Обручев и то, что стоит на одной с ним до-

роге борьбы за добро против зла, делает одно с ним дело.

Николай Обручев конкретно ввел его в это «дело», и он выполнял его, как мог. В Измайловском полку Владимир восстановил свои связи с Григорьевым и другими офицерами. У офицера Тихменева познакомился со студентом Данненбергом, который ввел его в кружок Николая Утина. Восстановил связи с академией Генерального штаба, с офицерами-поляками. Владимир Обручев чувствовал себя с ними, как с родными. Польский язык, который он знал с детства, очень пригодился для тайных бесед.

По массе поручений с конца весны — начала лета 1861 года Владимир чувствовал, что «дело» вступало в решительную фазу. В одной из тайных бесед Боков сказал ему, что «наступило время революционных организаторов» и что он, Обручев, является теперь агентом тайного революционного Комитета. Обручев не задавал лишних вопросов, но он догадывался о составе Комитета. Боков сказал, что Добролюбов возвращается в Россию из Италии, что Николай Обручев вернется вслед за ним к концу октября. Вместо них для связи поедут другие. Это нужно и для дезориентации Третьего отделения. Комитет готовит к изданию газету, конечно очень маленькую, но важную для организации всего дела. Для этой цели создаются три типографии. Кроме газеты, будет налажен выпуск прокламаций, обращенных ко всем слоям населения: к крестьянам (она уже написана), к молодежи, к солдатам, к офицерам, к «образованным классам». Обручев должен был ждать посыльного с газетой и разослать ее по адресам, развезти по городу. А пока он должен бывать в университете, у военных друзей, в обществе и сообщать Бокову о настроениях «публики».

В конце разговора Боков не вытерпел и спросил о Маше. Никто, кроме Владимира, не знал, как много значила для Бокова Маша. Каким милым казалось ему ее бледное лицо, как он любил выражение этих грустных серых глаз, таких задумчивых и добрых, как не давала ему покоя эта кудрявая белокурая

умная головка, как волновал его ее тихий голос! На правах врача он многое знал о ее болезни, которая уже излечилась университетом. Мария Обручева была в числе пионерок высшего женского образования в России.

От природы очень похожая на брата, да и характером в него, Мария была на три года его моложе, то есть вступала в ту пору, когда ее сверстницы считали необходимым выходить замуж. Но мысли Маши Обручевой были далеки от этого. Ею овладела другая мысль, казалось — несбыточная мечта: стать врачом, лечить болезни и раны своего многострадального народа.

Боков был восхищен ее решением и втайне приписывал кое-что и себе, своему влиянию. Он знал, что по твердости характера она не уступит брату, несмотря на всю свою доброту, скромность, тихий голос и удивительную женственность. Из последней беседы с нею он понял, что отец требовал ее возвращения в деревню, почему и спросил Обручева о ней.

— Положение трудное, — ответил Владимир, когда Боков смущенно опустил глаза, — и я не знаю, как ей помочь. Без согласия отца она не может сдать экзамен за гимназический курс мужской гимназии, к которому готова, не может начать слушать лекции в Медико-хирургической академии.

— Может быть, я снова могу быть полезен? — спросил Боков.

— Спасибо, Петр Иванович, но в качестве врача нет — отец вам больше не поверит. Да и нужно его официальное согласие.

— Может быть, посоветоваться с Николаем Гавриловичем?

— Я думал об этом, но он так занят последнее время.

— Я имею к нему доступ всегда. Пойдем вместе.

Николай Гаврилович работал так много, что ходить к нему без особенной надобности никто бы не решился. В 1861 году он работал больше, чем всегда. Но сейчас была именно «особенная надобность», и Владимир решился.

Боков действительно провел его сразу в кабинет, маленький, весь заставленный книгами. При их появлении Николай Гаврилович оторвался от корректуры и, как всегда, выслушал их внимательно и доброжелательно. Он не мог сразу решить эту задачу. Лицо его было задумчиво и грустно. Наконец он сказал:

— Случай исключительный и трудный. Но только такие трудности уполномочивают на риск. Вижу только один выход: если генерал не разрешит Марии Александровне учиться, ей остается одно — немедленно выйти замуж за человека, которого примет генерал и который позволит Марии Александровне учиться и свободно располагать собой. Идеальный вариант, если бы она уже полюбила такого человека, а он — ее. Но если этого нет — можно решиться на фиктивный брак. Но это риск, риск чрезвычайный. Любовь — это так хорошо и так важно для обоих супругов.

Сердце Владимира болезненно сжалось. Но если бы он мог знать, как тревожно и с каким волнением забилось сердце Бокова! Никогда, наверное, не решился бы предложить руку дочери генерала Обручева он, безродный «интеллигентный пролетарий», потомок крепостных. Но теперь он, не задумываясь, будет предлагать свою руку и сердце, ни на что не надеясь, а только желая пожертвовать собою ради несравненной Маши и видеть хоть иногда ее глаза не очень грустными. Она была для него единственной женщиной в мире, для которой он был готов на все, даже на муки неразделенной любви.

— Я готов для нее на все, — сказал Боков с таким чувством и убеждением, что Чернышевский и Обручев оба были поражены.

Да! Друг познается в беде. Русский народ всегда так считал, и это подтвердилось снова.

Владимиру стало жаль и Машу и Бокова. Он знал, что она еще никого не любит, а значит, не любит и Бокова.

Разговор с Машей окончился для Владимира неожиданно.

— Если он действительно согласен — я соглас-

на, — сказала Маша внешне спокойно, — но я должна поговорить с ним наедине.

Боков на всю жизнь запомнил этот разговор с Машей. Она плакала. Он впервые видел ее слезы, но это были не только слезы благодарности. Ей было больно сказать ему правду, но она была слишком честна, чтобы не сказать ее. Она никого еще не любит, но постарается полюбить его. А пока она может пойти только на фиктивный брак. Он открывает ей дорогу к образованию, к свободе, она не связывает его свободы ни в чем; даже материальных обязанностей у него не будет. Боков поражен в самое сердце, но он любит ее, и он сказал ей об этом, сказал, что он будет ждать, надеяться и готов на все.

Маша полна благодарности к своему жениху, но внешне она с ним очень холодна, он внешне принимает это за должное, на удивление всех знакомых. Маша с братом уезжают в мае в деревню. Боков приезжает позднее туда же и делает предложение по всей форме. Эмилия Францевна поражена холодностью дочери с этим милым красивым доктором. Она заметила слезы дочери, которые тщательно скрываются. Но доктор явно любит Машу, у доктора хорошая практика, Маша согласна, и Эмилия Францевна не может возражать.

Генерал не заметил ни холодности Маши, ни слез ее. Он давно понял, что неспроста Маша задержалась в Питере. Доктор Боков вылечил ее. Это заметно. Что ж, пусть выходит замуж! Забудет все свои фантазии. Жаль, конечно, что Боков не дворянин, да что делать! Другие, видно, времена пошли. Приданым не интересуется — видно, что любит Машу и обеспечит ее счастье.

Свадьбу назначили на 20 августа — в Клепенине. Владимиру поручено подыскать и устроить молодым в Петербурге новую квартиру: у Володи отменный вкус и чувство изящного. Даже кое-что из приданого Маша поручила купить ему, зная его вкус и доверяя ему в этом больше, чем себе. Суэта по случаю предстоящей свадьбы совершенно отвлекла Владимира от работы в «Современнике». Хорошо еще, что двести

рублей ему выдали из кассы вперед. Шлоссер лежал без движения. До перевода ли тут!

Но вот долгожданные письма от Чернышевского и от Бокова от 2 июня, в одном конверте. Надо возвращаться к работе над Шлоссером. Чернышевский просит об этом «усердно».

Если Чернышевский напомнил о делах по «Современнику», то Боков дал понять, что Владимир нужен ему как агент Комитета. Обручев покинул Клепенино.

Он приехал все же поздно. Без него уже был распространен первый номер «Великорусса» — подпольной «газеты», изданной в России. Обручев уже читал этот маленький листок — в осьмушку тонкой бумаги.

«Помещицы крестьяне, — говорилось в «Великоруссе», — недовольны обременительною переменою, которую правительство проводит под именем освобождения; недовольство их уже проявляется волнениями, которым сочувствуют казенные крестьяне и другие простолюдины, также тяготящиеся своим положением. Если дела пойдут нынешним путем, надобно ждать больших смут.

Правительство ничего не в силах понимать, оно глупо и невежественно; оно ведет Россию к пугачевщине. Надобно образованным классам взять в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства, чтоб спасти народ от истязаний...»

Владимир вспомнил, что уже слышал не раз эти слова, особенно: «...патриоты будут принуждены призвать народ на дело, от которого отказались бы образованные классы». Он знал, что листок был написан не одним человеком, да, он ясно слышал разные голоса, даже если бы Боков и не сказал ему, что эта программа — результат коллективного творчества, результат многих споров.

— Поэтому, — объяснил Боков, — первый номер — маленький и не полностью раскрывает наши карты. Все сразу нельзя — нужна разведка, проба сил.

В его, Обручева, задачу входило выявить реакцию различных кругов общества в Петербурге и в провинции на поставленные в первом номере вопросы:

1. Нужна ли конституция при монархии или без нее?

2. Может ли нынешняя династия отказаться добросовестно и твердо от самодержавия?

3. Будут ли «образованные классы» готовить формальные требования самодержавию?

На основе ответов на эти вопросы должна была создаваться дальнейшая тактическая платформа Комитета, выпустившего «Великорусс».

Владимир нигде не слышал осуждения «Великорусса». Всюду говорили о необходимости водворения «законного порядка» на основе справедливого разрешения крестьянского вопроса, введения конституции и освобождения Польши. Но возникали споры о том, как решить эти проблемы: выявились партии «умеренных» и «крайних». Первые считали, что нужны только более решительные реформы сверху, что царь способен сделать это, если его убедить и попросить; другие считали, что мирным путем сделать ничего нельзя, что царь ничего не даст народу России и Польши добровольно и Россия стоит накануне «революционных чудес».

Владимира глубоко взволновал отклик Герцена на первый номер «Великорусса». «Колокол» посвятил ему передовую.

«Заводите типографии! Заводите типографии! — говорилось в передовой. — Теперь самое время. Мы с восторгом узнали, что у нас начали печатать в тиши, *не беспокоя* цензуру, мы видели даже один листок «Великорусса». Это *второй*, необходимый шаг; везде так шло... Печатайте ручными типографиями, печатайте кой-как, тут не до эльзевировских изданий, имейте букв на пол-листа, чтоб разом можно было спрятать от *долгих* рук и *коротких* умов тайной полиции. Нет в Европе страны, где легче заводить типографии, как у нас, — везде теснее живут. Но не нам вас учить, да еще публично, мы ограничимся братским советом: *Заводите типографии! Заводите типографии!*»

Обручев был горд, что может помочь этому делу. Его радовало также удивительно бодрое, приподня-

тое настроение Чернышевского. Он ждал Добролюбова, чтобы ехать в Саратов, и был необычайно оживлен. Владимир убедился в этом в конце июля, когда встретил его случайно на улице. Погода была чудесная, располагавшая к жизнерадостному настроению. Оно, видимо, и овладело Чернышевским. Ему было нужно в типографию, потом в Гостиный двор — «за дарами Цереры», попросту за сайкой, — и Обручев предложил сопутствовать ему. Чернышевский все время весело разговаривал и шутил. Он был чем-то внутренне доволен. Владимир никогда не видел его на таком подъеме душевных и физических сил и не знал, конечно, что это их последняя большая беседа.

Неожиданно для многих, даже для Панаева, вернулся из Италии Добролюбов. Он вернулся совсем больным. Состояние его здоровья ухудшалось. Но об этом знали только близкие. Добролюбов деятельно включился в работу «Современника», Чернышевский мог ехать в Саратов к больному отцу. Владимир пошел, конечно, провожать его 17 августа, в день отъезда, но поговорить с ним уже не пришлось.

На другой день Обручев сам выехал во Ржев. 20 августа 1861 года в Клепенине по всем правилам была отпразднована скромная свадьба Маши и Боква.

Радость подвига

Лето кончалось. Стояли последние дни августа. Обручев окончательно водворился в Петербурге и принялся наверстывать потерянное время. Не успел он кончить перевод Шлоссера, как был вызван в редакцию к Добролюбову.

— Владимир, вам поручается политическое обозрение для сентябрьской книжки. Николай Гаврилович не сможет его прислать. Я знаю, что это нелегко. Но мы поможем вам.

Владимир взялся за работу. Он часто в это время посещал Добролюбова. В одно из посещений неожиданно вошел Некрасов, только что приехавший из

деревни и потому не видевший еще Добролюбова после Италии.

Встреча была очень радостной. Они обнялись. Владимир решил, что не стоит мешать им, не видевшимся так долго.

Но назавтра ему снова нужно было по делам навестить Добролюбова. Этот разговор долго потом вспоминал Владимир Обручев.

— Ничего не будет! — с горечью сказал Добролюбов. — Таково впечатление Некрасова за время бытности в деревне. Ему нельзя не верить, он чувствует биение народного сердца, он знает деревню. Но мы не опускаем рук, мы будем драться до конца, до последнего дыхания!

Разговор, естественно, перешел в конкретную сферу. Добролюбов возлагал большие надежды на приезд Николая Обручева в конце октября. Он знал, какая бездна работы в армии будет двинута им и Сераковским здесь и в Царстве Польском.

Говорили о Михайлове, который привез из-за границы воззвание «К молодому поколению», начал его распространять сам и с помощью студентов и у которого недавно был обыск.

Прощаясь, Добролюбов сказал Обручеву:

— Будьте осторожны! Это только первый обыск. Борьба вступает в решающую фазу. Как больно, что меня ограничивают физические силы!

Обручев утешал его, как мог, но усилившаяся болезнь Добролюбова была слишком очевидной.

Придя домой, он прежде всего сжег все свои «ученические упражнения в писании». Часть бумаг он отнес к Маше, но впоследствии понял, что этого делать не следовало.

В назначенный день и час Владимир услышал условный стук в дверь и пароль.

Посетитель был ему более чем знаком.

— На этот номер большая надежда, — сказал он, — в нем изложена важнейшая часть программы Комитета. Надо не только распространить, но и донести через Бокова реакцию общества на этот номер. После заадресования конвертов список сожги-

те — это важная улика. Будьте осторожны. Желаю успеха! Вам будут помогать и другие.

Толстая пачка номеров «Великорусса» лежала перед ним. С волнением он взял в руки листок. О! Он в четыре раза больше прежнего. Правда, печать дурна да бумага слишком тонка для текста на обеих сторонах. Но ничего, зато у нас, дома, без цензуры, в Питере — под носом у Зимнего дворца и Третьего отделения! Не «Колокол», конечно, но периодическое издание, подпольная газета в самой России. Это неслыханно!

«Выслушав отчеты своих членов о мнениях, высказываемых в публике по поводу вопросов, предложенных в «Великоруссе», — читал Владимир, — Комитет пришел к следующим заключениям». Дальше, дальше, а вот оно, главное:

«Крестьяне еще не организовались для общего восстания, эпохою которого будет лето 1863 года, если весна его обманет их. Но должно помнить, что выкуп отвергают единодушно все крестьяне. О требовании с них выкупа нечего и думать людям, желающим, чтобы они остались довольны решением вопроса. Если же крестьяне останутся недовольны, законный порядок не может водвориться путем мирных реформ, потому что удерживать крестьян в спокойствии надобно будет, как теперь, военными мерами. А власть, действующая такими мерами против массы населения, не будет соблюдать законности ни в чем. В таком случае законность будет введена только вследствие революции».

Владимир оглянулся — нет, он один, а ему казалось, что он видит Чернышевского, который стоит и говорит ему это.

Он стал читать дальше:

«...русские приверженцы законности должны требовать безусловного освобождения Польши. Теперь стало ясно для всех, что власть наша над нею поддерживается только вооруженною рукою. А пока в одной части государства власть над цивилизованным народом держится системой военного деспотизма, правительство не может отказаться от этой си-

стемы и в остальных частях государства. Вспомним слова Чатама при начале восстания американских колоний: если английское правительство подчинит деспотизму Америку, сама Англия подвергнется деспотизму. Поэтому он вместе со всеми друзьями свободы в Англии требовал, чтобы английские войска были выведены из недовольных колоний. Точно так же интерес русской свободы требует освобождения Польши».

Снова невольно Обручев вспомнил свои беседы с Чернышевским, когда работал над статьей «Невольничество в Северной Америке» в январе — феврале 61-го года, свои беседы с ним о Польше, когда начались демонстрации в Варшаве — в апреле — мае. Казалось, что эта беседа продолжается, но формулировки стали более резкими, тон — более решительным.

«Мы, великоруссы, достаточно сильны, чтобы остаться одним, имея в самих себе все элементы национального могущества. Гордые своею силою, мы не имеем низкой нужды искать, по примеру Австрии, вредного для нас самих искусственного могущества в насильственном удерживании других цивилизованных племен в составе нашего государства.

Мы можем вполне признать права национальностей. Мы необходимо должны это сделать, чтобы ввести и упрочить у себя свободу. Вот объяснение имени, носимого нашею газетою».

Только теперь Владимир ясно понял, почему так названа газета. Видимо, поляки думают наладить свои издания, разъединиться во имя объединения на новой основе свободных наций. Фраза об Австрии, угнетавшей многие народы, живо напомнила Обручеву совместную работу с Чернышевским над первой статьей о сербах, когда он подчеркивал именно насильственный характер многонационального государства Австрии и говорил о необходимости нового потрясения ее, как в 1848—1849 годах.

А вот и заключительные выводы Комитета:

«Но чего требовать? Того, чтобы государь даровал конституцию, или, чтобы он предоставил нации

составить ее? Правительство не умеет порядочно написать даже обыкновенного указа, тем менее сумело было оно составить хорошую конституцию, если бы и захотело. Но оно хочет сохранить произвол, потому, под именем конституции, издало бы оно только акт, сохраняющий, при новых словах, прежнее самовластие. Итак, требовать надобно не октроирования конституции, а созвания депутатов для свободного ее составления. Для выбора представителей нужны: свобода печати, право популярным людям составить из себя в каждой губернии распорядительный комитет, с подчинением ему всех губернских властей, составление временного избирательного закона популярными лицами, которых укажет голос публики.

Следующий номер «Великорусса», изложив выводы из мнений, высказываемых по вопросу о династии, представит на рассмотрение публики способ действий, наиболее сообразный с нынешним настроением общественного мнения».

Этим номер заканчивался. Обручев глубоко задумался. Он не знал, что его оценка совпадет с тою, какую даст Герцен там, за Ла-Маншем: «Это подвиг, который не пропадет бесплодно». В разных концах света они сделали тот же вывод. Впервые в России, в тайно изданном документе, так просто и ясно вскрывались ее болезни и язвы и указывались наиболее приемлемые средства лечения.

Медлить нельзя. Завтра же весь Петербург, а затем Москва, Тверь, Саратов должны узнать этот замечательный документ. Владимир берет пачку конвертов, оставленный ему список адресатов и пишет, пишет, пишет...

Рука устала писать. Но скоро конец. Номера «Великорусса» уложены в конверты. Конверты заклеены.

День 7 сентября 1861 года подходил к концу. Закончив работу, Владимир сжег список и вышел на улицу. Был уже вечер. Конверты надо было бросить в разные почтовые ящики, некоторые развезти по домам, разбросать в подъезды.

Из-за частых приступов зубной боли Обручев носил клетчатый шерстяной шарф, которым закрывал

нижнюю часть лица. Сегодня он тоже не решился с ним расстаться. Владимир вышел в своем обычном костюме, хотя он был приметен. Карманы были полны пакетов.

Сначала Обручев ходил пешком, но ему показалось, что из одной квартиры за ним побежали. Владимир умел слетать с лестниц, как немногие: он имел большую практику в этом деле еще со времен корпуса. Но этот случай все же заставил его подумать о транспорте.

Проходя мимо угла Невского и Литейного, Обручев всегда смотрел на стоявших тут лихачей и в особенности на одного из них — молодого, красивого парня. Даже при всей массе проходящего тут народа лихач мог заметить его лицо и тем более шарф. Никогда раньше Обручев не мог и мечтать о том, чтобы прокатиться на таком извозчике. Но сейчас для пользы дела он счел разумным взять его.

В тот вечер, 7 сентября 1861 года, экипаж с седоком в клетчатом шарфе можно было встретить в разных концах города. Гнедой конь птицей порхал вдоль Литейной, Садовой, Миллионной. Он яростно грыз удила, пробегая мимо Таврического дворца и Летнего сада, выбивал глухую дробь по настилу Дворцового моста, гарцевал иноходью на Васильевском острове, обдавал пылью людей на набережной Екатерининского канала.

Если кому-нибудь пришло бы в голову пуститься в погоню за экипажем, он увидел бы, как, останавливаясь то здесь, то там, пассажир исчезал на миг в подъездах с пачкой конвертов в руке или бросал их в почтовые ящики.

Впрочем, никто не обращал внимания на человека в клетчатом шарфе. Дело обычное. Какой-нибудь курьер. Напрасно седок осторожно косил глазами по сторонам. Все спокойно, если не считать любопытного лихача. Но на лихача-то Владимир и не обращал внимания и не заметил, как пристально смотрел на него этот парень, когда он опускал в разные ящики письма. Ах, если бы Обручев был наблюдателем, он бы сменил лихача немедленно. Но он не сменил его

ни разу. Хорошо еще, что расстался с ним не у дома, а где-то на Невском и быстро исчез в толпе. Шел домой бесконечно усталый.

Что делает Полина? Она, конечно, и не подозревает о случившемся. Еще вчера днем они говорили о стихах Гейне, Фрейлиграта и уговорились идти в театр в воскресенье.

«Великорусс»! О, он расскажет ей о содержании второго номера. Заснул спокойно, с чувством исполненного долга.

Утром он опять засел за свою работу — надо было кончать «Политику» для сентябрьской книжки «Современника». Он был счастлив и спокоен.

В те дни в богато обставленных салонах, в клубах, редакциях журналов и на званых обедах только и разговоров было, что о таинственном листке. Многих пробирала дрожь. Дерзость вольного слова была не по вкусу умеренным прогрессистам. Однако многим кружила голову перспектива мирного решения конституционной проблемы.

— Ведь мы действительно не мужики и не поляки. В нас стрелять нельзя, — подбадривали себя некоторые цитатой из первого воззвания.

Однако дальше разговоров дело не шло. В словесном вихре больше всего было любопытства.

— Кто же, наконец, автор этой интригующей бумаги? Из кого состоит загадочный «Комитет», кто автор программы?

* * *

— Помните, что писать «Политику» означает излагать главную линию журнала, — говорил Добролюбов. — Сейчас это особенно трудно. Цензура вцепилась нам прямо в горло. Жизнь требует творить чудеса. Оставаясь неуязвимыми для цензуры, мы должны писать так, чтобы читатель воспламенялся ненавистью к существующему порядку. И не только возненавидел его, но и набрался отваги для борьбы!

Обручев не мог забыть лихорадочного блеска глаз этого тихого на вид человека. Неужели он не доживет до революции?

Да разве ему дожить, если одна тревога за дру-

гой охватывали этого сгоравшего на глазах у всех человека?

Очень беспокоился Добролюбов за Обручева. Через Бокова узнал, что извозчик не был смнен ни разу. Неделя волнений. Посоветовал Обручеву сменить квартиру.

14 сентября распространился слух об аресте Михайлова. Владимир немедленно уничтожил дома все, что могло еще его скомпрометировать. Теперь он мог ожидать появления непрошенных гостей в голубых мундирах и на новой квартире, в другом конце города.

Полину он уговаривал не пугаться в случае его ареста.

— Сейчас такие времена, что хватают кого попадо, — объяснял он.

Полина угадывала чутьем, что дело не в случае, и тайком плакала.

Обручев продолжал внимательно прислушиваться к различным толкам о «Великоруссе». Подолгу беседовал с литераторами, студентами, чиновниками.

Среди дворян-либералов «Великорусс» не был принят как программа конституционализма и мирных реформ. Многие заявления великоруссцев заставляли их не только морщить нос, но трепетать. Когда же всерьез обсуждался вопрос о петиционной кампании, все прятались в кусты. Радикальная молодежь высказывала свое недоверие к «мирной» доктрине «Великорусса», хотя кое-кто и понимал, что даже при столь умеренной политической линии столкновение неизбежно. Многие видели, что в «Великоруссе» куда больше пороха, чем это кажется на первый взгляд, и потому переписывали и распространяли «Великорусс».

Владимир так и не увидел третьего номера. Но его содержание пересказал ему Александр Серно-Соловьевич.

— Итак, наше тайное общество отстаивает мирный конституционализм? — спрашивал Владимир, желая, наконец, добиться ясности.

— Наше общество, — терпеливо пояснял Алек-

сандр, — заявляет только, что оно поддержит всех, кто на деле, а не на словах будет решительно бороться за конституцию, составленную без участия нынешнего правительства. Оно ставит условия, на которых будет поддерживать это движение. Надо иметь в виду, что всякая решительная борьба, пусть мирная, в условиях России неизбежно приведет к столкновению и выльется в революцию. Весь вопрос в том, как далеко способны пойти либералы по такому «мирному» пути. Для того и делается проба. «Великорусс» лишь на первый раз предлагает испытать мирные средства. Время, употребленное на этот опыт, не будет потеряно.

— Понимаю! Значит, все равно необходимо готовить организованную пугачевщину?

— Ну конечно! Глупо полагаться на «образованные классы». Не так ли? — взволнованно говорил ему Александр Серно-Соловьевич.

Владимир молча кивал головой. Он не хотел признаться, что предпочел бы мирный путь, что, больше того, он возлагает на него немалые надежды. Началось это еще со времени ответа Герцена на письмо «Русского человека». Издатель «Колокола» отказывался от призыва к оружию «до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора...». Приближается время серьезного испытания для «образованных классов». «Великорусс» поможет решить вопрос, быть или не быть кровопролитию.

Словно угадывая его мысли, Александр Серно-Соловьевич говорил:

— Запомни, что сказано в последнем выпуске «Великорусса»: «Если мы увидим, что они не решаются действовать, нам не останется выбора».

— Правильно! — вырвалось у Владимира. — Если нет иного пути — пусть топор решит дело. Но надо действительно убедиться, что выбора нет. Неужели разум не возьмет верх?

Наконец 21 сентября 1861 года из Саратова вернулся Чернышевский. Его не было в столице всего месяц и пять дней. А Обручеву казалось, что прошла целая вечность. Усилившаяся болезнь Добро-

любова пугала всех близких. Но приезд Чернышевского, казалось, придал ему новых сил. Он и все как-то заметно ожили. Работа кипела в редакции, кипела она и вне ее. Настроение у всех было приподнятое. Приподнятым было оно и у Обручева. Скоро месяц, как он свободно гуляет по Питеру, совершив «государственное преступление». Значит, все было удачно. Скоро он закончит самые неотложные дела и решит свой личный вопрос, а то Полина потеряет, наконец, терпение.

4 октября Владимир проснулся в отличном настроении. На столе лежали последние страницы законченного перевода. Теперь скорее к издателю!

Весь день прошел удачно. Владимир сдал рукопись Александру Александровичу Серно-Соловьевичу, занимавшемуся изданием Шлоссера. От него Обручев на извозчике отправился на обед к сестре и Бокову. Пересекая Невский, он по привычке оглянулся на «своего» лихача, с которым недавно ездил по городу. Тот, как всегда, стоял на своем излюбленном месте. Только на этот раз Владимиру показалось, что владелец гнедого рысака махнул кнутом в его сторону. Быть может, это только померещилось?..

Около девяти вечера Обручев шел домой по Басковой улице. Вдруг на него набросился рослый мужчина.

— Постой-ка, голубчик! — раздался позади пропитый голос. — Тебя-то нам и надо!

В лицо пахнуло винным перегаром.

— Пустите! Как вы смеете меня трогать?! Я гвардейский офицер!..

— Городовой, сюда!

Голос звучал повелительно. Владимир понял, что сопротивление бесполезно.

Среди врагов

Немые стены безжалостно отрезали его от всего мира. По ту сторону остались друзья, родные. Но Обручев не думает сдаваться. Сначала он все же считал

свой арест недоразумением. Когда известный следователь по политическим делам Путилин искал к нему подход со всех сторон, Обручев понял, что при аресте жандармы даже не знали его фамилии, его арестовали в результате слежки, по внешнему виду.

Он не скрывал своей фамилии: это было неразумно, они все равно бы ее узнали. Но он требовал освобождения, требовал объяснить ему причину внезапного ареста на улице.

У него потребовали адрес квартиры и повезли туда. В его каморке обыск им ничего не дал. Но его все же не оставили дома. Владимир с тоскою посмотрел на свою последнюю «вольную квартиру». Отныне у него, как и у Михайлова, «казенная квартира» — сначала в Третьем отделении, потом в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Михайлов еще здесь. Но они должны скрывать свое знакомство. Каждый из них один на один должен биться с общим врагом. Если Михайлов еще здесь и если его, Обручева, взяли на улице по слежке, значит свой его не выдал. Его выдал чужой, да, тот красивый паренюх-лихач!

Обручев ни в чем не признается: не ездил, не возил, лихача не знает, «Великорусса» не видел и не знает. Наконец его повели к самому графу Шувалову в кабинет, обставленный шкафами красного дерева. Беседа продолжалась примерно четверть часа. Шувалов все время стоял за своим столом, поглядывая в окно.

Пренебрежительным тоном граф заметил:

— Ведь у вас есть двоюродный брат, который участвовал в «Военном сборнике» с Чернышевским? Где он теперь?

— Полковник Обручев в служебной заграничной командировке. С мая 1860 года он не был в России.

— Да?!

Обручев запомнил этот вопрос. С тревогой жались сердце за Николая, который в конце октября с молодой женой-француженкой должен был вернуться в Россию. Но Владимир не сомневался в его осторожности.



Н. И. Утин.



П. Г. Заичневский

Обручев твердо решил ни в чем не признаваться. Однажды его подвели к небольшому железному ящику и, открыв его, показали массу надписанных им самим писем: Панаеву, Салтыкову-Щедрину, Ламанскому...

«Почему эти письма здесь?! Неужели адресаты сами доставили их в Третье отделение?! Конечно, как же иначе?» Вихрем пронеслись в мозгу Обручева ужасные догадки. Мысль о том, что все эти конверты могли быть задержаны на почте, не пришла ему в голову.

Отпираться было бесполезно. Жандармы так же хорошо знали его почерк, как и он сам. А конверты надписаны его обычным почерком.

Он вынужден был признать свое личное участие в распространении второго номера «Великорусса».

Но и только! Больше жандармы от него ничего не добились!

Это было 28 октября 1861 года. Мысль Обручева лихорадочно работала в одном направлении: к 20 октября должен быть напечатан третий номер «Великорусса». Все его острие направлено против царствующей династии. «Комитет уверен, — говорится в нем, — что законность и нынешняя династия — вещи, которых нельзя соединить... Сами факты пусть раскроют глаза людям, питающим ошибочную надежду на династию. Всего важнее, чтобы друзья свободы действовали заодно».

Обручев мучительно повторял эти строки. Его лично факты уже убедили, кто друзья свободы на словах, а кто — на деле.

Обручев страдал всем сердцем за «людей партии». Ведь они рискуют жизнью ради того, чтобы получатели «Великорусса» приносили его в Третье отделение!

Обручев не знал, что только 17 человек из сотен принесли номера «Великорусса» в Третье отделение, приложив к ним письменные уверения в своей преданности престолу. Не знал он и того, что Панаев поступил так с одной лишь целью: отвести подозрения от редакции «Современника», не знал он, что

конверты, адресованные Салтыкову-Щедрину, не им были вскрыты в канцелярии вице-губернатора. Многого не знал Обручев! Он видел только надписанные собственной рукой конверты, попавшие в руки врагов, и страдал, тревожился за друзей, за лучших людей России.

В нем все клокотало. Он буквально метался по камере и мучительно думал:

«Как предупредить людей? Как огласить этот подлый факт доставки «Великорусса» в полицию их получателями?»

Обручев перебрал в уме все возможности и, наконец, решился попросить свидания с сестрой Машей и зятем Боковым. Быть может, это было неосторожно, он рисковал вовлечь своих ближайших родных в большие неприятности. Но другого, более верного и внешне безобидного пути он выдумать не мог. В конце концов это его родные, и он имеет право требовать встречи с ними.

Владимир был крайне возбужден. Он с нетерпением ждал свидания. Наконец оно было разрешено. Вечером Обручева привели в приемную, и он увидел своих. Маша, конечно, бросилась к нему со слезами, тепло обняла и стала расспрашивать о всем, что с ним произошло. Власти проявили удивительную корректность: в комнате не было никого.

Боков тотчас же приложил палец к губам и указал взглядом на необыкновенную мебель в приемной: там был большой полукруглый диван, приставленный к стене. В нем легко могли спрятаться два человека, хотя и одного бывает достаточно, чтобы погубить людей.

Предупреждение Бокова заставило их говорить нужные вещи шепотом под аккомпанемент причитаний Маши. Инцидент с письмами был подробно рассказан с просьбой дать ему возможно широкую огласку и не губить себя ради публики, до такой степени безучастной. Из разговора Обручев узнал, что «третий вышел» и адрес царю — тоже.

«Комитет работает!» — с этим радостным сознанием Владимир простился с Машей и Боковым. Те-

перь он был спокоен, ибо знал, что предупредил людей, продолжавших борьбу.

В себе Владимир не сомневался. Он знал, что тайное общество больше всего сейчас нуждается в его твердости и самообладании.

— Держись, — шептал Боков. — Мы верим.

И он боролся.

Улики? Их поначалу оказалось немного. Обручев предъявили два письма, найденные при обыске. Одно от Чернышевского, другое от Бокова. Оба были в одном конверте и адресованы ему, Владимиру. В письме Чернышевского упоминалось имя Николая Александровича Серно-Соловьевича.

Но все это не улики. Это просто деловые записки относительно литературной работы.

Ничего не дала следователям и другая «находка». Это был черновик письма, в котором Владимир еще в 1859 году просил советов у Чернышевского. Каким образом он не уничтожил его?

— Объясните, что именно разумели вы под словами «подняться выше типа либерального господина»?

Обручев импровизировал на ходу. Не поверили. Атаки продолжались.

— Почему вы искали руководства именно Чернышевского?

Обручев понял, что больше всего врагов интересует это имя. Нет, Чернышевского он будет защищать до последнего дыхания! Собрав все силы и хладнокровие, он отвергал одно подозрение за другим. Он начинающий литератор и, конечно, нуждался в советах, в руководстве. Как же иначе?

Следователи наступали. По их вопросам Владимир догадывался о многом. Жандармы уверены, что «Великорусс» — дело рук Чернышевского, но они прячут свои карты. Если бы Владимир знал, что в распоряжении жандармов уже были доносы предателя Костомарова, рукописи воззваний «Барским крестьянам», «Солдатам» и множество агентурных донесений!

Никто не мог рассказать ему о Михайлове. Его он мельком увидел в тюрьме. Удалось ли ему сохранить тайны общества?

Борьба не утихала.

Шувалов, по существу, так и не добился ничего, если не считать признания самого Обручева. Да! Он, Владимир Обручев, не отрицает своего сознательного участия в распространении «Великорусса». Почему он пошел на это? Ему казалось, что это единственный путь улучшить бедственное положение страны.

— Надо думать, не один вы исполнили все дело. Где остальные участники? Кто, например, дал вам эти листы?

— Извольте. Я получил их от одного господина, которого, кстати сказать, знаю очень мало. Имени назвать не могу. Связан словом чести.

Сколько раз пришлось повторить одно и то же, пока не убедились жандармы в бесполезности дальнейших допросов! Обручев был переведен в Петропавловскую крепость.

Потянулись недели и месяцы томящего одиночества, изредка прерываемого допросами, похожими на предыдущие.

Боков, как позднее узнал Владимир, тоже был арестован, но сумел отвести от себя удар.

— Печать, которой запечатаны конверты с «Великоруссом», принадлежит вам?

Боков решительно отверг подозрение. Да, на его письме к Обручеву та же печать, что и на конвертах с «Великоруссом», но, по-видимому, он, Боков, запечатал свое письмо у кого-нибудь из своих многочисленных пациентов. У кого именно, он, конечно, не помнит.

Атаки на Обручева становились все настойчивее. К каким только хитростям не прибегали враги!

В ноябре камеру Обручева посетил свитский генерал Потапов.

— Вы знали Добролюбова?

— Знал, по журнальной работе.

— Умер он-с...

Узник стиснул голову руками. Посетитель терпеливо выжидал. Вкрадчивый тон сочувствия не подкупил Обручева. Напрасно ждал Потапов рассказа

о Чернышевском и других друзьях Обручева. Он уехал ни с чем.

Но, оставшись наедине с самим собой, потрясенный Владимир весь день ходил по камере. Он не мог уснуть всю ночь.

Сколько передумано дум! Лишения огромны. Но не они тяготят Владимира. Огорчает мизерность самого «преступления». Знай Обручев, что так обернется дело, он бы поспешил сделать что-нибудь посущественнее. По крайней мере было бы за что пострадать. Теперь поздно.

В декабре на него пытались воздействовать письмами родителей, убитых горем, после чего дважды возили на допросы в сенат — с тем же результатом.

В Петропавловской крепости он встретил новый, 1862 год.

В апреле по приказанию царя ему устраивают встречу с принцем Ольденбургским. Холеный отпрыск выродившейся немецкой династии знает все тонкости придворной дипломатии. После долгой беседы о родителях Обручева принц переходит к делу.

— Вы понимаете, что я приехал не для того, чтобы погубить вас, а для того, чтобы спасти... Вот бумага и перо. Напишите государю, я обязуюсь подать и добиться милости...

Обручев не двигается с места. Он не смотрит на «высокого гостя». Пауза затягивается.

— Вы понимаете, что ваше упорство составляет новое преступление? — шепчет принц. Его лицо блее бумаги.

— Лучше преступление, чем позор!

— А преступление не позор?!

Через секунду принц исчезает, но за дверью долго еще слышится истеричный вопль: «Преступление не позор?.. Преступление не позор?..»

У Обручева свое представление о чести и о позоре. Пусть его не учат титулованные особы. Принц напрасно потерял полтора часа. А сколько их потеряли Шувалов, Потапов, Путилин?

...Сегодня, по-видимому, 13 мая 1862 года. Если это так, то завтра сенат должен, наконец, вынести

приговор. Несколько дряхлых служителей царского престола, уткнув подбородки в стоячие воротники мундиров, решат судьбу двадцатилетнего человека, единственное «преступление» которого — попытка донести до людей вольное слово.

Появляется другой «доброжелатель» — комендант крепости Сорокин, хорошо знавший его отца:

— Зачем вы себя губите?

— Что делать? Нельзя иначе.

— Хотите на свободу? Стоит только написать покаянное письмо государю...

Только не это! Пусть не ждут от него предательства. И вот поэтому завтра ему предстоит выслушать приговор. Владимир знает, что пощады не будет. Его судят не столько за распространение запретных листов. Кара его ждет за дерзкий вызов проклятому игу российской династии. Он, дворянин, предал свой класс. Этого не простят, тем более что врагов «своего класса» он защищал до конца.

В ночь на 14 мая 1862 года Обручев спал спокойно. Он честно исполнил долг.

* * *

Гул многолюдной толпы на Мытной площади затих. Головы повернуты в одну сторону.

Ах, как тяжелы эти несколько ступеней, ведущих на эшафот! Пусть как угодно воспевают поэты последние шаги осужденных! Обручев поднимался, напрягая все силы.

Смерть? Нет, всего лишь гражданская казнь, но чем она лучше настоящей?

Палач грубо срывает пальто и шапку. Глухо стучит молот по железу. Вот они какие, кандалы! Сейчас его поставят к позорному столбу. А погода стоит чудесная, майская, легкий ветерок освежает голову «преступника».

В толпе раздаются выкрики:

— Прихвати мясо! Прихвати мясо! Так им и надо, смутьянам да поджигателям!

Владимир смотрит в толпу. Он видит много разъяренных лиц. Сердце его упало.

За что?!

Обручев не знал, что полиция затеяла провокацию в связи с майскими пожарами в Петербурге. Революционеров обвиняли в поджоге домов.

Гремит барабанная дробь. Палач толкает Владимира, и он падает на колени. Хруст переломленной над головой шпаги и звуки голоса, зачитывающего приговор, Обручев слышит точно сквозь сон. Впрочем, приговор ему уже известен. Лишение всех прав состояния, ссылка на каторжные работы сроком на три года и пожизненное поселение в Сибири. Империя помещиков-крепостников рассчитывалась с человеком, посягнувшим на ее незыблемость.

Генерал-губернатор Суворов был последним, кто даже после казни предложил Обручеву назвать имена сообщников.

— Я сказал все, что мог, и покоряюсь моей участи.

Вечером того же 31 мая Обручев сел в тюремную повозку. Лошади тронулись в дальний сибирский путь. Непривычно и тоскливо гремели кандалы.

Позади остались поиски пути, первые шаги по нему, борьба за честь, за друзей и товарищей по общему делу.

Так закончились для Обручева шестидесятые годы. Он был вырван из них.

Впереди была длинная и трудная дорога, жизнь каторжника.

Трудные годы

Под ним «оборвалась крутизна». Падение было стремительным, а удар такой, что до конца дней у него не достало сил и умения выбраться на прежнюю дорогу. До 1863 года он ждал революции в России. Но «натиск» был отбит. Чернышевский и Николай Серно-Соловьевич разделили печальную судьбу Михайлова и Обручева. Тяжело было пережить эти вести. Тяжело еще и оттого, что был один.

Как сложилась судьба Обручева?

Двенадцать с лишним лет сибирской каторги и поселения составили особый период в его жизни.

Первобытная сибирская глушь, стоны арестантов в острогах, мрачные рудники и заводы, наконец, бескрайняя отдаленность от всего, чем привык жить и дышать Обручев, подействовали угнетающе. Перед стихией людского зла опускались руки. Каторжные порядки, заведенные на Руси, казались здесь, в Сибири, несокрушимыми, как Гималайский хребет.

Светлыми пятнами на мрачном фоне были дружеская встреча в Тобольске с Шелгуновыми да встречи с политическими ссыльными. Среди них были и польские революционеры. Но свидания были слишком короткими.

Тень декабристов витала над краем, где пришлось жить Обручеву. Многие сподвижники Пестеля и Рылеева уже ушли из жизни. Другие доживали свой век оторванные друг от друга.

В первый год каторги на Александровском винокуренном заводе, в пятидесяти верстах от Иркутска, ему посчастливилось часто видаться с Владимиром Раевским. На Петровском железодельном заводе, где он пробыл с 1863 года почти до конца ссылки, завязалась его искренняя дружба с декабристом Иваном Ивановичем Горбачевским. Тот согревал его теплом большого сердца. Нередко читал ему письма, приходившие из разных уголков Восточной Сибири от Оболенского, Завалишина, Фон-Визина, Михаила Бестужева. Для Обручева герои 14 декабря были не только живыми памятниками, обращенными лицом к прошлому. Общение с ними ободрило его.

Физические лишения переносились легко. Труднее были внутренние муки. Казалось, он терял самого себя.

В одном он оставался прежним Обручевым — в своей любви к родине, желании блага и свободы народам России и Польши. Как к этому придут они, теперь он не знал.

И еще одну неистребимую черту сохранил он в себе до конца дней — железную стойкость в борьбе за сохранение тайны, вверенной ему однажды.

В Третьем отделении не забыли непокорного отставного офицера Обручева. Агаки продолжались. Кто знает, может быть, каторга развяжет язык бывшему агенту Комитета?

Время от времени перед Обручевым появляется человек в голубом мундире.

— За вас ходатайствуют родные. Мы понимаем боль родительского сердца. Но от вас требуется раскаяние. Полное раскаяние. Назовите же сообщников по делу «Великорусса»!

Ах, как хочется на свободу! Как нужны Владимиру глаза и руки близких людей! Но...

— Я не считаю это для себя возможным!

И так без конца.

Граф Шувалов бесится в своем кабинете на Фонтанке. В 1868 году он шлет в Сибирь два официальных письма о новых предложениях «фанатику» Обручеву. В них он дает слово оставить виновных «безнаказанными», если только...

Что? Слово жандарма? Никогда Владимир Обручев не станет предателем. Лучше смерть!

И из жандармских канцелярий Сибири идут одни и те же рапорты: «Отказался дать показания».

Тяжко на душе у Владимира. Давно нет тайного общества, к которому он принадлежал, и «человек, передавший мне для распространения в публике этого листка, уже ни для кого не может быть опасен», — писал он в своих объяснениях начальству. Многие уже нет на свете. А иные томятся в сибирских острогах. Среди них и дорогой ему человек, Чернышевский. В часы раздумий Обручев нежно смотрит на томик Шекспира в красном переплете. У него на полке три таких томика. Это подарок Николая Гавриловича.

Вспоминались последние беседы с ним, его добрый взгляд, могучее обаяние ума. За Чернышевского он, Обручев, хоть сейчас готов отдать жизнь.

Пролетели двенадцать лет. «Законное облегчение участи». Обручев, наконец, в России. Куда забросила его теперь судьба?

...1877 год. Черноморские штормы качают русские

суда у берегов Турции. Идет война. Рядом с русскими солдатами в Балканских горах проливают кровь за свободу братья-славяне.

На море свои потери и свои победы. 29 мая на рассвете русский миноносец № 2 на всех парах идет на сближение с головным кораблем турецкой эскадры. Удар в борт! Взрыв! Миноносец круто разворачивается, посылая залпы в борт неприятельского судна. Кочегар сует в топку огромный кусок сала, и миноносец стремительно ускользает от врага.

Слава! Весь экипаж представлен к награде. Только волонтер Владимир Обручев скромно отказывается от нее.

— Ведь я же ничего не сделал лично! Всего лишь подставил лоб.

Обручев не служит на корабле. Он человек гражданский. Просто выпросил у адмирала разрешение «сходить в дело». Но все равно. 15 июля 1878 года в Одессу, где живет теперь бывший каторжник, приходит бумага. Владимиру Обручеву возвращен его прежний чин поручика. Вместе с чином пришло восстановление во всех правах.

Что это, поворот в жизни?

Нет. Обручев ждал другого. Ему казалось, что победа в войне будет зарей конституционных свобод для России.

— У людей явились общие гражданские мысли и решимость действовать по этим мыслям, — говорил он, восхищаясь патриотическим подъемом военных лет.

Но Россия осталась в старых цепях. И Обручев снова упал духом. Внешне он продолжал держаться. Он покинул свою службу в «Русском обществе пароходства и торговли», куда поступил в 1874 году, после возвращения из ссылки.

С 1880 года началось «пролетарское существование». Так называл он работу журналиста. На страницах «Вестника Европы» и «Отечественных записок» временами появлялись его статьи и повести. Неизменно помогал ему М. Е. Салтыков-Щедрин.

В 1883 году Обручев в качестве корреспондента

едет за границу. Париж, Лондон, затем снова Париж. Усилием воли он заставляет себя собирать материал для русских журналов. Но дело не клеится. Внутренняя духовная драма приводит Обручева к глубокому кризису.

«Были мысли, вопросы, порывы, падения, любовь и ненависть, радость и тоска, — пишет он. — Неужели из всего, что пришлось продумать и проработать, нельзя выжать одной слезы человеческой, которая пала бы на другую душу и зажгла бы в ней огонь решимости быть лучше? Решимость! Настоящая, твердая, осуществимая! Хорошие бы люди из нас выходили, если бы она была в нас!»

Ничто так не толкает к раздумью, как литературный труд. Где же то знамя, за которое стоит бороться? Обручев почувствовал себя в тупике.

Корни трагедии уходили к тем далеким временам, когда жандармы, злорадствуя, показывали ему пакеты с «Великоруссом». То был первый удар по идеалам юности. Крушение наивной веры в разум, силу и честь сословия, к которому он, Обручев, принадлежал.

В кого верить, в народ? Где дорога к нему? Обручев вспоминал гражданскую казнь и ожесточенные лица людей, обманутых полицией. Это был второй удар.

Третьим ударом было общее поражение славной когорты людей, с которой он связал судьбу в 1859 году.

Остальное довершила сибирская ссылка.

Возвращение не помогло ему. Он не заметил на родине ни обновления, ни тяги к нему. Война и ее исход обманули радостные надежды. Рядом не нашлось твердой руки, подобной руке Чернышевского, которая поддержала бы и направила его.

В жалкой мансарде Латинского квартала, а потом в одном из предместий Парижа Обручев испытал всю глубину одиночества. Голод, отчаяние предвещали гибель.

Спасение пришло неожиданно. Николай Николаевич Обручев и его жена вспомнили о родственнике и разыскали его. Они помогли вернуться в Россию.

Николай Обручев, в те времена крупный военный деятель, был уже начальником Главного штаба русской армии. Благодаря его протекции в октябре 1883 года в Петербурге «состоялся журнал» об определении Владимира на военную службу.

Истощив силы в поисках жизненной цели, Владимир Обручев покорился ходу событий.

До 1906 года продолжалась его служба в морском ведомстве. Двадцать два года политической летаргии, оправдание которой он искал в пользе своей службы для родины, закончились уходом Обручева в отставку в чине генерал-майора.

Судьба обоих Обручевых, бывших друзей и сподвижников Чернышевского, была судьбой людей, не вынесших удара, который нанес царизм революционному движению 60-х годов, первому «революционному натиску». Для Владимира Обручева он явился большой личной драмой. И когда настало время подвести итоги жизни, отыскать в ней самые светлые воспоминания, старый генерал обратил взор к эпохе «Современника» и «Великорусса».

В конце своего пути, склоняясь над мемуарами у письменного стола, он вновь испытал суровый упрек жизни. Его мечта рассказать потомкам о «Великоруссе», о борьбе революционеров 61-го года оказалась неосуществимой. В стране все еще царил деспотизм, от борьбы с которым он отошел с болью и мукой.

«Словом, ясно... если я теперь не заставлю себя написать то, что... должно быть написано, то оно так и уйдет со мной в могилу. А это было бы нежелательно, так как мне пришлось быть прикосновенным к обстоятельствам, которые не должны быть забыты и без моего свидетельства неизбежно будут искажены... Но... наиболее важное из того, что я имею сказать, не скоро еще может быть оглашено... Об Н. Г. Чернышевском и М. И. Михайлове еще не наступило время говорить... Путешествие Н. А. Серно-Соловьевича было, кажется, неблагоприятно... Мне рассказывали, что он умер почти тотчас по приезде в Иркутск... Я назвал Некрасова... потому, что его можно назы-

вать. Никого больше не назову...» — перо выпало из рук семидесятипятилетнего Обручева. Он умер в 1912 году.

Знаменательно, что с первым словом об этом человеке обратился к потомству сам Чернышевский. Героем романа «Алферьев», к которому Чернышевский приступил в Петропавловской крепости тотчас после «Что делать?», не случайно был избран Владимир Обручев. Вдохновенны пламенные слова, посвященные автором своему младшему соратнику:

«Милый друг! Мы шли по одной дороге. Под Вами оборвалась крутизна; я продолжал идти, гордясь тем, что цел, отчасти стыдясь того, что цел, — не очень долго: и подо мною оборвалась крутизна. И вот оба лежим разбитые. Это ничего, мы оба выздоровеем, опять пойдем своей дорогой, одной дорогой... А мне хотелось бы, чтобы и это время разлуки не пропало даром для нашей дружбы. И вот мне вздумалось показать Вам, как я понимаю Вас, как я ценю Вас».

Тайну «Великорусса» и его Комитета начал открывать тот, кто лучше всех знал ее и имел на нее право, — «великорусский демократ» Чернышевский.

